

**ИГОРЬ
СУХИХ**

*Русский канон:
Книги XX века*

От Шолохова до Довлатова



АЗБУКА

Санкт-Петербург

УДК 821.161.1-1
ББК 83.3
С 91

Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Вадима Пожидаева-мл.

ISBN 978-5-389-24907-3

© И. Н. Сухих, 2024
© Оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2024
Издательство Азбука®

Одиссея казачьего Гамлета (1925–1940. «Тихий Дон» М. Шолохова)

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути. (...)
Жизнь прожить — не поле перейти.

Б. Пастернак. 1946

Разговор о «Тихом Доне», кажется, мгновенно превращается в «шолоховский вопрос». Украл или не украл? Кто он, этот первый настоящий автор? Крюков? Серафимович? Неизвестный гений, который то ли погиб на Гражданской, то ли просидел в вешенском подвале до Великой Отечественной?

Не мог ведь, не мог малограмотный продотрядник, любимчик Сталина и других вождей, не диссидент, а ортодокс, призывавший разобраться с собратьями-писателями скорым революционным судом, не сочинивший больше ничего отдаленно приближающегося к этой книге, написать лучший русский роман XX века (по результатам опроса 1998 года треть читателей считает именно так: Булгаков и Пастернак далеко позади).

Вы нам — компьютерный анализ, а мы вам — фрагменты, заимствованные из воспоминаний белых генералов (как будто Л. Толстой не использовал мемуары о войне 1812 года).

Конечно, и «Гамлета» сочинил лорд Рэтленд, а не с трудом расписывавшийся сын перчаточника. А «Горе от ума» логичнее смотрелось бы в творчестве Пушкина (хорошо, что не Булгарина), ведь у Грибоедова не получилось больше ничего, сопоставимого с гениальной комедией.

Расследования, несомненно, продолжатся. Для них есть широкое поле: не существует не только достоверной био-

графии Шолохова (возможно, официальная дата рождения, 1905 год, неточна: писатель родился раньше), творческой истории книги, но даже более или менее приемлемого критического и комментированного издания. Но они не изменяют главного.

«Илиада» существует, даже если Гомера не было. «Эпопея будет продолжаться, хоть Гомер немного и вздремнет».

«Разве „Грозу“ Островский написал? „Грозу“ Волга написала», — сказал один поклонник драматурга.

В таком случае эту книгу сочинил Дон-батюшка. А Шолохов — его псевдоним.

Прежде всего — это очень длинная книга. Четыре тома, восемь частей, больше семисот персонажей (по подсчетам С. Семанова), около полутора тысяч страниц. Самый длинный (среди самых известных) русский роман XX века. По объему и охвату событий — почти точная копия «Войны и мира».

Роман-река, роман-жизнь, по-ученому говоря — роман-эпопея. Жанровую схему Толстого увидели в «Тихом Доне» уже первые критики. «Замысел „Тихого Дона“ — показать социальные сдвиги в среде крестьянства, в данном случае казачества и преимущественно середняков, в результате войны и революции. Но замысел этот не ограничивается рамками индивидуальных сдвигов, или шире — сдвигов в пределах одной семьи. Он расширяется до социального разреза целой эпохи и вкладывается в жанр *романа-эпопеи*». Социологические клише (потом многократно воспроизведенные) сталкиваются в статье А. Селивановского (1929) с точностью видения.

Создавая новый жанр, Лев Толстой определялся по очень далекому ориентиру: «Без ложной скромности — это как Илиада».

Однако «Гомер русской „Илиады“, творец „Войны и мира“» (А. Кони) внес в новый эпос щелочной психологический анализ и философскую рефлексию XIX века. Автор «Тихого Дона» в этом смысле делает шаг назад, в прошлое, от Гомера русского к Гомеру греческому.

«Тихий Дон» — это «Война и мир» без четкой социальной вертикали (выходы на вершины власти, к своим Александрам и Багратионам, у Шолохова эпизодичны), без диалектики души (ее заменяют живописный показ и суммарный психологизм), без философии истории (тут дело ограничивается идеологическими формулами эпохи и краткими сентенциями повествователя). Эпос не интеллектуальный, а низовой, почвенный, наивный.

Внешне композиционная структура романа уравновешенна, почти симметрична: четыре книги, восемь частей, которые, опять же как у Толстого, делятся на четкие главки-эпизоды. Но эта гармоничность обманлива. Некоторые главки занимают одну-две страницы и оказываются информативно-функциональны, другие, наоборот, весьма пространны и содержат несколько разноплановых эпизодов.

То же и с макрокомпозицией. Три части первого тома (23, 21 и 24 главы) сменяются двумя частями книги второй (21 и 31 главы). Третья книга вообще написана сплошным куском (часть 6, 65 глав). В четвертой снова появляется двухчастное деление (29 и 17 глав).

Аналогично обстоит дело и с другими уровнями и элементами романного целого. Композиционную стройность и стилистический блеск нужно искать в других местах, но не в «Тихом Доне». Это циклопическое сооружение сложено из неотшлифованных, необтесанных блоков.

И если неоднократный отрыв эпитета от определяемого слова («Неярко вставало солнце», «Дальний приближался лесок», «В горнице мертвая стояла тишина») или неловкую имитацию то ли Белого, то ли орнаментальной прозы («Эшелоны... Эшелоны... Эшелоны несчетно! По артериям страны, по железным путям к западной границе гонит взбаламученная Россия серошинельную кровь») еще можно счесть «стилистическим приемом», то четыре «шел» в одном абзаце (ч. 5, гл. 12), фразы вроде «В бою полки понесли поражение» или привязчивые штампы («предельная яркость», «предельная ясность»,

«предельное напряжение», «слепящая яркость», «жгучая ненависть» и пр.) не защитить уже ничем. Они нуждаются не в защите, а в понимании их природы.

В «Тихом Доне», кажется, повторяется феномен, описанный Х.-Л. Борхесом в эссе «Суеверная этика читателя» (1932): «Нищета современной словесности, ее неспособность по-настоящему увлекать породили суеверный подход к стилю, своего рода псевдоочтение с его пристрастием к частностям... Суеверие пустило-таки свои корни: уже никто не смеет и заикнуться об отсутствии стиля там, где его действительно нет, тем паче если речь идет о классике... Обратимся, например, к „Дон Кихоту“. Поскольку успех книги здесь не подлежал сомнению, испанские критики даже не взяли на себя труда подумать, что главное и, пожалуй, единственное бесспорное достоинство романа — психологическое. Сочинению Сервантеса стали приписывать стилистические достоинства, для многих так и оставшиеся загадкой. Но прочтите два-три абзаца из „Дон Кихота“ — и вы почувствуете: Сервантес не был стилистом (по крайней мере, в нынешнем, слухоуслаждающем смысле слова). Судьбы Дон Кихота и Санчо слишком занимали автора, чтобы он позволил себе роскошь заслушиваться собственным голосом».

«Тщеславной жажде стиля», «опустошительной жажде совершенства» Борхес противопоставлял старый «содержательный» принцип: «Писателя ведет избранная тема».

Автора «Тихого Дона» тоже ведет избранная тема. Правда, она далеко не сразу далась ему в руки.

Из скурых автобиографических признаний известно, что вначале был задуман и даже отчасти написан роман «Донщина» (знал ли автор о древнерусской «Задонщине?»). «Начал я писать роман в 1925 году. Причем первоначально я не мыслил его так широко развернуть. Привлекала задача показать казачество в революции. Начал с участия казачества в походе Корнилова на Петроград...»

В итоге корниловские главы затерялись во втором томе. Генерал, как и другие реальные, исторические фи-

гуры (Краснов, с другой стороны — Подтелков), оказался персонажем проходным, эпизодическим. Отступив назад, в 1912 год (столетие той войны, которую сделал предметом своей эпопеи Лев Толстой), автор в то же время резко сузил горизонт повествования.

«Тихий Дон» поначалу строится как семейная сага, история Мелеховых и втянутых в жизнь этого рода соседей, односумов, хуторян.

История семьи начинается с войны, откуда Мелехов Прокофий привозит жену-турчанку. Проброшенные в первой экспозиционной главе бытовые детали в повествовательной перспективе наливаются символическим смыслом: мелеховский двор — *на самом краю* хутора; *любовь* героя удивительна, небывала, необычна для хутора — «будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана»; защищая жену, которую односельчане считают ведьмой, Прокофий идет на *убийство*, которое сопровождается *рождением* ребенка и *смертью* матери.

Рождение, любовь, смерть естественная и насильная сплетаются в тугой узел в существовании на самом краю, в пространстве мифа.

Потом все успокаивается, страсти уходят в глубину, младший сын, «звероватый» Григорий, до поры до времени ничем не выделяется из казачьей среды и станичного быта. Семейная сага превращается в казачий эпос.

Люди ловят рыбу, пашут землю, косят сено, скачут на лошадях, охотятся на волка (как в «Войне и мире»), едут в лес за хворостом, поют на гулянках. Другие люди спорят о Толстом или читают Евангелие. Среди них есть богатые и бедные, есть хуторская интеллигенция. Откуда-то со стороны появляется Штокман и начинает пропагандировать среди казаков. Какой-то бледной тенью проходят воспоминания о пятом годе. Но события прошлого и настоящего не ломают сложившегося порядка вещей.

Поначалу мир «Тихого Дона», как и положено в эпосе, сделан из одного куска, подчиняется природным за-

кономерностям, измеряется не историческими датами, а временами года и религиозными праздниками, более широко — неизбежной сменой поколений.

«Стекали неторопливые годы. Старое, как водится, старилось; молодое росло зелеными». — «А над хутором шли дни, сплетаясь с ночами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду гудела гора, и, застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью, равнодушно шел к морю Дон». — «Обычным, нерушимым порядком шла в хуторе жизнь: возвратились отслужившие сроки казаки, по будням серенькая работа неприметно сжирала время, по воскресеньям с утра валили в церковь семейными табунами; шли казаки в мундирах и праздничных шароварах; длинными шуршащими подолами разноцветных юбок мели пыль бабы, туго затянутые в расписные кофточки с буфами на морщиненных рукавах».

Традиционную версию казачьей судьбы хорошо определяет дед Гришака. На вопрос внучки: «Боишься помирать, дедуня?» — он с радостной улыбкой отвечает: «Жду смертыньку, как дорогого гостя. Пора уж... и пожил, и царям послужил, и водки попил на своем веку...» (Что-то похожее на сто лет раньше произносил другой мудрый дед, толстовский Ерощка. Вообще, начальные сцены «Тихого Дона» пишутся будто по канве «Казачков».)

Даже эксцентрическое, ужасное (изнасилование Аксины отцом, страшные побои мужа, попытка самоубийства Натальи) не акцентируется, а поглощается этим мощным стихийным жизненным потоком. Выныривая из него, выходя временами на первый план, некоторые герои (Лиза Мохова) в первой же книге исчезают навсегда.

Но здесь же, в первых двух частях первой книги, завязывается главный сюжетный узел, который определит всю романную структуру. Как ни странно, в основе сложного эпического построения «Тихого Дона» лежит простая фигура: любовный треугольник (Григорий — Аксиныя — Наталья), осложненный еще несколькими линия-

ми (Аксинья — Степан — Григорий, Аксинья — Евгений Листницкий).

«Сердцу девы нет закона...» Сердцу казака, оказывается, тоже. Так что следующая трансформация семейной саги на страницах «Тихого Дона» — превращение ее в историю драматической любви: и казачки (казаки) любить умеют.

Первый виток отношений Григория и Аксиньи — от встречи на берегу Дона (это свидание будет откликаться в романе до самого конца) через рыбную ловлю и ночное свидание («Пусти, чего уж теперь... Сама пойду!..») до демонстративного разрыва накануне женитьбы («Сучка не захочет — кобель не вскочит»).

Второй цикл — новое сближение («Ну, Гриша, как хошь, жить без тебя моченьки нету...»), уход из мелеховского дома и попытка самоубийства Натальи, бегство любовников к Листницким.

В выборе героя есть не только индивидуальный, психологический, но, пожалуй, и физиологический аспект: «По ночам, по обязанности лаская жену, горяча ее молодой своей любовной ретивостью, встречал Гришка с ее стороны холодок, смущенную покорность. Была Наталья до мужниных утех неохоча, при рождении наделила ее мать равнодушной, медлительной кровью, и Григорий, вспоминая иступленную в любви Аксинью, вздыхал».

И вдруг романический сюжет надолго останавливается. В третьей части первой книги происходит очередная трансформация: история любви сменяется военно-исторической хроникой.

Война, как в страшном сне, начинается в «Тихом Доне» многократно: о ней узнают на хуторе, потом отдельно рассказано, как с ней столкнулся Григорий, потом, еще раз, она дана через восприятие Петра и других хуторян-однополчан.

Горизонт повествования в военных главах резко расширяется. Действие перебрасывается в Петербург, Москву, на фронт (в частности, в те места, по которым че-

рез несколько лет будет идти вместе с конармейцами бабелевский герой-очкарик). Хутор Татарский, в первых двух частях бывший центром казачьего мира, становится точкой на карте, песчинкой в историческом водовороте.

Линейная фабула семейной истории здесь резко ломается. В роман входят многочисленные исторические персонажи. Повествование — по-толстовски — ведется то через Листницкого, то через Бунчука, то через Корнилова. Огромное место именно в этой, хроникальной части занимают массовые сцены.

В этих, выросших из «Донщины», частях и главах формируется ключевой для структуры «Тихого Дона» принцип, послуживший причиной многочисленных последующих споров. Его можно обозначить как принцип сознательного противоречия, несведенных концов, конфликтных взаимоотношений не только персонажей, но разных смысловых и оценочных пластов романа. То, что скептики приписывают сознанию разных авторов, можно интерпретировать как диалог языков, который М. Бахтин считал универсальным принципом романной структуры. Размышления и споры персонажей, пейзажно-символические обобщения, социально-политические и риторические клише, «толстовские» моралистические умозаключения относительно автономны, не координируются жестко друг с другом. Обобщающее слово повествователя не столько на равных входит в большой диалог (случай Достоевского в интерпретации Бахтина), сколько отступает, тушется перед мощным потоком теперь взбаламученной, несущейся куда-то кровавым потоком жизни, не охватывает его целиком.

«Хочешь живым быть, из смертного боя выйтить — надо человеческую правду блюсть, — наставляет идущих на войну казаков еще один мудрый дед. — А вот какую: чужого на войне не бери — раз. Женщин упаси бог трогать, и ишо молитву такую надо знать».

Казаки списывают текст и увозят под нателными рубахами, но это их не спасает: «Смерть пятнила и тех, кто возил с собою молитвы».

Несколькими страницами раньше была дана сцена жестокого изнасилования Франи, где нарушалась другая стариковская заповедь. Пострадали ли ее нарушители — неизвестно, этот эпизод больше не отыгрывается в романе.

Еще сложнее, оказывается, придерживаться заповеди первой. Здесь грешны все, молодые и старики (начиная с Пантелея Прокофьевича), казаки и иногородние, красные и белые, рядовые и офицеры. «Грабиловку из войны учинили! Эх вы, сволочи! Новое рукоделие приобрели!» — распекает «добычливого подхорунжего» Мелехов. На что тот с улыбкой кивает на начальство: «Да они сами такие-то! Мы хучь в сумах везем да на повозках, а они цельными обозами отправляют». Позднее повествователь отмечает: «Распоясались братушки. Грабеж на войне всегда был для казаков важнейшей движущей силой».

«За веру, царя и отечество» идет воевать любовник Лизы, автор дневника, который находит у него, уже убитого, Григорий Мелехов. А казаков на эту же войну тянут силой. «„Один черт! Как в турецкую народ переводили, так и в эту придется“, — озлобясь неизвестно на кого, буркнул Томилин».

То же и в частной, еще мирной, жизни. Потеряв ребенка, по-прежнему любя Григория, Аксинья отдается Листницкому «со всей бурной, давно забытой страстностью», потом ненавидит его («Не подходи, проклятый!..»). «Через три дня ночью Евгений вновь пришел в половину Аксиньи, и Аксинья его не оттолкнула».

Комментарий повествователя лаконичен: «Свои неписанные законы диктует людям жизнь».

«Жизнь» — главное романное слово, простое и непонятное, объясняющее все — и ничего.

В военных частях и главах молодой и безудержно-страстный казак, живущий до поры до времени так, как растет трава, начинает превращаться в казацкого Гамлета.

«Я, Петро, уморился душой. Я зараз будто недобитый какой... Будто под мельничными жерновами побывал, перемяли они меня и выплюнули... Меня совесть убивает», — исповедуется он брату.

Одна из ключевых «гамлетовских» метафор возникает в разговоре с Урюпиным-Чубатым. «Убью и не вздохну — нет во мне жалости! — чеканит доморощенный нищеанец с „волчиным“ сердцем. — Животную без potreбы нельзя губить — телка, скажем, или ишо что, — а человека унистожай. Поганный он, человек... Нечисть, смердит на земле, живет вроде гриба-поганки». Своего однополчанина он упрекает: «У тебя сердце жидкое».

Мучительно переживая первое убийство австрийца, проходя обычный воинский путь (атака — ранение — госпиталь — возвращение в строй — второе ранение — лечение в Москве — возвращение домой), Григорий, человек с «жидким сердцем», время от времени, как очнувшийся от сна, пытается понять, что происходит с ним и в мире, но в конце концов упирается в то же самое прозрачно-загадочное понятие «жизнь».

«Давно играл я, парнем, а теперь высох мой голос и песни жизнь обрезала. Иду вот к чужой жене, на побывку, без угла, без жилья, как волк буерачный... — думал Григорий, шагая с равномерной усталостью, горько смеясь над своей диковинно сложившейся жизнью».

Уходом от чужой жены к своей, возвращением в родной дом кончается первая книга.

Война лишает опоры не только Григория Мелехова. Уходит почва из-под ног у всех. Ломается привычный образ жизни. «Перемены вершились на каждом лице, каждый по-своему вынашивал в себе горе, посеянное войной». Проекты ближайшего будущего в вихре этих перемен оказываются катастрофически несовместимы.

«Эта война не для меня. Я опоздал родиться столетия на четыре», — грезит о прошлом подъяесаул Калмыков, «маленький круглый офицер, носивший не только в имени, но и на лице признаки монгольской расы». «Завидую тем, кто в свое время воевал первобытным способом... В честном бою врубиться в противника и шашкой разделить человека надвое — вот это я понимаю, а то черт знает что!»

Евгению Листницкому эта война тоже кажется чужой, но совсем по другой причине. «С каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клоаке. В гвардейских полках — в офицерстве, в частности, — нет того подлинного патриотизма, страшно сказать — нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим, в сущности, объясняется мой разрыв с полком», — жалуется он в письме отцу.

На такие романтические бредни со злым прищуром смотрит буревестник будущего Бунчук. «Что вы думаете делать после войны? — почему-то спросил Листницкий, глядя на волосатые руки вольноопределяющегося. — Кто-то посеянное будет собирать, а я... погляжу. — Бунчук сощурил глаза. — Как вас понять? — Знаете, сотник (еще пронзительнее сощурился тот), поговорку: „Сеющий ветер пожнет бурю“?»

Еще у одного большевика, Гаранжи, готова уже картина будущего, утопия в духе горьковского Андрея Неходки из «Матери»: «И у германцев и у хранцузив — у всих заступэ власть робоча и хлиборобська. За шо ж мы тоди будемо брухаться? Граньци — геть! Чорну злобу — геть! Одна по всьому свиту будэ червона жизнь. Эх!.. Я б, Грыцько, кровь свою руду по капли выцидыв бы, шоб дожить до такого...»

Сами хлеборобы рассуждают еще проще: «Нам до них дела нету. Они пушай воюют, а у нас хлеба неубратые! — Это беда-а-а! Гля, миру согнали, а ить ноне день — год кормит».

Разноголосица — знак того, что время общей жизни, время эпоса уходит безвозвратно.

Война плоха не потому, что она «империалистическая», «захватническая» и т. п. Просто для многих, для большинства это — чужая война, не имеющая ни смысла, ни оправдания.

Концепция второй книги (именно в нее вошли фрагменты ранней «Донщины»), кажется, меняется. Она более исторична и идеологична. Большевик Бунчук тут пропагандирует и читает Ленина, Листницкий пишет на него донос, богачи Моховы взыскивают деньги у Мелеховых по исполнительному листу (иллюстрация социального расслоения), Корнилов идет на Петроград (иллюстрация белогвардейской сущности офицерства), начинается завершающаяся в третьей книге история Подтелкова и Кривошлыкова.

Мелеховский сюжет во второй книге развивается едва ли в десятке глав (из 52). Тематически значимыми оказываются лишь роды Натальи. Бунчук и Анна, Листницкий, исторические персонажи заслоняют и отодвигают в сторону Григория и других персонажей с хутора Татарского.

На смену эпически-обстоятельной изобразительности первой книги здесь приходит публицистическая скоропись, исторические штампы или просто переписанные протоколы или донесения. «Новочеркасск стал центром притяжения всех бежавших от большевистской революции. Стекались в низовья Дона большие генералы, бывшие вершители судеб развалившейся русской армии, надеясь на опору реакционных донцов, мысля с этого плацдарма развернуть и повести наступление на Советскую Россию... В составах полков оставалась чуть ли не треть нормального числа всадников. Наиболее сохранившиеся полки — 27-й, 44-й и 2-й запасный — находились в станице Каменской. Туда же в свое время были отправлены из Петрограда лейб-гвардии Атаманский и лейб-гвардии Казачий полки. Пришедшие с фронта

полки 58-й, 52-й, 43-й, 28-й, 12-й, 29-й, 35-й, 10-й, 39-й, 23-й, 8-й и 14-й и батареи 6-я, 32-я, 28-я, 12-я и 13-я были расквартированы в Черткове, Миллерове, Лихой, Глубокой, Звереве, а также в районе рудников. Полки из казаков Хоперского и Усть-Медведицкого округов прибывали на станции Филоново, Урюпинская, Серебряково, некоторое время стояли там, потом рассасывались» (ч. 5, гл. 3).

Однако, вопреки стилистическим и тематическим сбоям, повествователь и здесь успевает проговорить важные, концептуальные идеи, иногда вполне еретические для «советского романа о революции», выстроить цепочку символических деталей, набросать десятки пейзажей с любимым Доном, солнцем, степью...

В многочисленных диалогах-спорах герои предсказывают (задним числом — в 1928 году!) будущее потрясения, к которым ведет бессмысленная война.

«Вот, старики, до чего довели Россию. Сравняют вас с мужиками, лишат вас привилегий, да еще старые обиды припомнят. Тяжелые наступают времена... В зависимости от того, в какие руки попадет власть, а то и до окончательной гибели доведут. — Россия одной ногой в могиле... — Эх, господин есаул, нас, терпеливых, сама жизнь начинила, а большевики только фитиль подожгут...»

Самое страшное предсказание звучит из уст столетней старухи. Ее апокалипсические пророчества припоминает по пути на фронт Максимка Грязнов, «беспутный и веселый казак, по всему станичному юрту стяжавший до войны черную славу бесстрашного конокрада».

«Ягодка, мой Максимушка! В старину не так-то народ жил — крепко жил, по правилам, и никаких на него не было напастей. А ты, чадунюшка, доживешь до такой поры-времени, что увидишь, как всю землю опутают проволокой, и будут летать по синю небушку птицы с железными носами, будут людей клевать, как арбуз грач клюет... И будет мор на людях, глад, и восстанет брат на

брата и сын на отца... Останется народу, как от пожара травы». «— Что ж, — помолчав, продолжал Максим, — и на самом деле сбылось: телеграф выдумали — вот тебе и проволока! А железная птица — еропланы. Мало они нашего брата подолбили? И голод будет. Мои вон спротив этих годов в половину хлеба сеют, да и каждый хозяин так. По станицам стар да млад остались, а хлоп неурожай — вот и „глад“ вам.

— А брат на брата — это как, вроде брехня? — спросил Петро Мелехов, поправляя огонь.

— Погоди, и этого народ достигнет».

Вторая книга — рассказ о механизме этого «достижения».

Революция, или «октябрьский переворот» (этикетки события в «Тихом Доне» варьируются), входит в мир романа, в отличие от войны, внезапно и тихо. Она не сваливается, а подкрадывается. Впервые об «октябрьском перевороте» узнают Корнилов и другие узники Быховской тюрьмы. Перед этим в сцене у Зимнего дворца Шолохов так и не поставил точку: закончил девятнадцатую главу пятой части картиной пустой площади, отказавшись писать (в отличие, скажем, от Маяковского) и выстрел «Авроры», и штурм, и красных вождей — все необходимые элементы советского мифа.

Можно интерпретировать авторскую позицию так: подобно создателю будущего «Красного колеса», Шолохов считает октябрь 1917-го закономерным итогом и результатом февраля или даже августа 1914-го. Исторические узлы завязались раньше, поэтому немифологизированная большевистская революция оказывается звеном в цепи, рядовым событием в числе иных.

Но возможно и иное объяснение. Под корой исторической хроники и во втором томе пульсирует сюжет персонального романа. Повествователь поэтому изображает революцию-переворот не только как исторический катаклизм, но и как момент, точку личного выбора, переводит событие в персонально-символический ряд.

Во второй главе пятой части повествователь после долгого перерыва возвращается к герою и дает вначале объективную, внешнюю его характеристику, вписывает его в сюжет исторической хроники. «Мелехов Григорий в январе 1917 года был произведен за боевые отличия в хорунжий, назначен во 2-й запасный полк взводным офицером. В сентябре он, после того как перенес воспаление легких, получил отпуск; прожил дома полтора месяца, оправился после болезни, прошел окружную врачебную комиссию и вновь был послан в полк. После Октябрьского переворота получил назначение на должность командира сотни. К этому времени можно приурочить и тот перелом в его настроениях, который произошел с ним вследствие происходивших вокруг событий и отчасти под влиянием знакомства с одним из офицеров полка — сотником Ефимом Извариным».

Потом намечена — весьма далекая — сюжетная прагматика. Изварин, разрушая внушения Гаранжи, колебля под ногами Григория «недавно устойчивую почву», тянет его в сторону самостийности: «В жизни не бывает так, чтобы всем равно жилось. Большевики возьмут верх — рабочим будет хорошо, остальным плохо. Монархия вернется — помещикам и прочим будет хорошо, остальным плохо. Нам не нужно ни тех ни других. Нам необходимо *свое*, и прежде всего избавление ото всех опекунов — будь то Корнилов, или Керенский, или Ленин... Между сегодняшним укладом казачьей жизни и социализмом — конечным завершением большевистской революции — непроходимая пропасть...»

Появляющийся кстати Подтелков снова проговаривает большевистские идеи и лозунги: «Раз начали — значит борозди до последнего. Раз долой царя и контрреволюцию — надо стараться, чтоб власть к народу перешла. А это — басни, детишкам утеха. В старину прижали нас цари, и теперь не цари, так другие-прочие придают, аж запишшим!..»

Григория по-прежнему одолевают гамлетовские сомнения. «Я говорю... — глухо бурчал Григорий, — что

ничего я не понимаю... Мне трудно в этом разобраться...
Блукаю я, как метель в степи...»

Заканчивается глава пейзажной зарисовкой. «Оставившись у запотевшего окна, Григорий долго глядел на улицу, на детишек, игравших в какую-то замысловатую игру, на мокрые крыши противоположных домов, на бледно-серые ветви нагого осокоря в палисаднике и не слышал, о чем спорили Дроздов с Подтелковым; мучительно старался разобраться в сумятице мыслей, продумать что-то, решить.

Минут десять стоял он, молча вычерчивая на стекле вензеля. За окном, над крышей низенького дома, предзимнее, увядшее, тлело на закате солнце; словно ребром поставленное на ржавый гребень крыши, оно мокро багровело, казалось, что оно вот-вот сорвется, покатится по ту или эту сторону крыши».

В невинном, по видимости, пейзаже — один из ключевых символов, лейтмотивов книги. Повешенное на стену ружье в последний раз выстрелит через тысячу страниц.

Солнце будет сопровождать героя на всем его дальнейшем мучительном пути. Жизнь на грани, на ребре в ситуации постоянного выбора станет его обычным состоянием.

Взгляд на революцию из точки вечного промежутка, с позиции человека, барахтающегося в потоке, а не сразу выбравшего определенный берег, придает авторской концепции идеологическую неоднозначность и глубину.

«Ведь вот я по-честному не приемлю революцию, не могу принять! И сердце и разум противятся... Жизнь положу за старое, отдам ее, не колеблясь, без позы, просто, по-солдатски. А многие ли на это пойдут?» — думает Листницкий. Он же первым в романе произносит страшные слова, подтверждающие пророчество «брат на брата и сын на отца»: «Я говорю, что тогда, то есть в будущих боях, в гражданской войне, — я только сейчас понял, что она неизбежна, — и понадобится верный казак».

Сухих И.

С 91 Русский канон : Книги XX века : От Шолохова до Довлатова / Игорь Сухих. — СПб. : Азбука, Азбука-Агтикус, 2024. — 480 с. — (Азбука-классика. Non-Fiction).

ISBN 978-5-389-24907-3

Игорь Николаевич Сухих — доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета, писатель, критик. Автор многочисленных исследований по истории русской литературы XIX–XX веков, в том числе книг «Проблемы поэтики Чехова», «Чехов в жизни: сюжеты для небольшого романа», «Сергей Довлатов: Время, место, судьба», «От... и до... Этюды о русской словесности», «Структура и смысл: Теория литературы для всех» и др., а также любившегося учителям и учащимся трехтомника «Русская литература для всех».

Двухтомник «Русский канон: Книги XX века» — итог «известной культурной игры» в составление списков «книг, которые должен прочесть каждый образованный человек, прежде чем умереть», «ста лучших романов», «двадцати великих поэтов» и т. д. Произведения, которые стали классикой XX века, преодолели свое время и сегодня читаются как свидетельства, пророчества, провокация. Тридцать очерков представляют русскую литературу XX века поверх барьеров — от «Вишневого сада» А. Чехова и «Петербурга» А. Белого до «Заповедника» С. Довлатова и «Генерала и его армии» Г. Владимова. Написанная в свободной эссеистической манере, книга адресована всем любителям русской словесности.

УДК 821.161.1-1

ББК 83.3

Лигературно-художественное издание / Әдеби-көркем басылым

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ СУХИХ
РУССКИЙ КАНОН:
КНИГИ XX ВЕКА
ОТ ШОЛОХОВА ДО ДОВЛАТОВА

Ответственный редактор Алла Степанова
Художественный редактор Вадим Пожидаев-мл.
Технический редактор Мария Антипова
Компьютерная верстка Алины Леонтьевой
Корректоры Валентина Гончар, Елена Шнитникова

Подписано в печать / Баспаға қол қойылды 21.02.2024.
Формат издания 76 × 100 ¹/₃₂. Печать офсетная. Тираж 3000 экз.
Усл. печ. л. 21,15. Заказ №

Изготовитель: ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака АЗБУКА*,
115093, Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Даниловский,
пер. Партийный, д. 1, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru

Филиал ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» в г. Санкт-Петербурге,
191024, Санкт-Петербург,
Херсонская ул., д. 12–14, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru
Отпечатано в России.

Өндіруші: «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» ЖШҚ —
АЗБУКА* тауар белгісінің иесі,
115093, Мәскеу, қ. іш. аум.
Даниловский муниципалдық округі,
Партийный т.ш., 1-үй, к. 25
Тел. (495) 933-76-01, факс (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru

Санкт-Петербург қ. «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“» ЖШҚ филиалы,
191024, Санкт-Петербург,
Херсон көшесі, 12–14 үй, лит. А
Тел. (812) 327-04-55
E-mail: trade@azbooka.spb.ru
www.azbooka.ru; www.atticus-group.ru
Ресейде басып шығарылған.

Техникалық реттеу туралы РФ заңнамасына сай басылымның сәйкестігін растау туралы
мәліметтерді мына адрес бойынша алуға болады: <http://atticus-group.ru/certification/>.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)
Ақпараттық өнім белгісі
(29.12.2010 ж. № 436-ФЗ Федералдық заң)



Отпечатано в Акционерном обществе
«Можайский полиграфический комбинат»
143200, Россия, г. Можайск, ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru, тел.: (49638) 20-685



A-NFA-33892-01-R